



Сергей Патрушев

Ученик
доктора

Сергей Патрушев
Ученик доктора

«Автор»

2026

Патрушев С.

Ученик доктора / С. Патрушев — «Автор», 2026

Юный Алекс, ученик циничного гения медицины доктора Адама, попадает в мир, где алхимия сплетена с магией, а каждое лекарство может стать ядом. Когда принцессу Алису поражает загадочный недуг, созданный магией крови, Алекс и его учитель отправляются в опасное путешествие к Непроступным горам, чтобы найти легендарного дракона. Хранителя Знаний о «Первичной крови». Их ждут испытания, потери и предательства, которые изменят всё. Главное испытание — узнать, что цена спасения может быть выше, чем они готовы заплатить. Теперь Алекс должен решить: что важнее — жизнь учителя, судьба принцессы или собственное сердце? История о жертвенности, запретных знаниях и любви, которая способна победить саму смерть.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Анатомия чуда	5
Глава 2. Полевые испытания	18
Глава 3. Милость императора	29
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Ученик доктора

Глава 1. Анатомия чуда

Дождь начался задолго до рассвета — не внезапным ливнем, а медленным, тягучим наступлением сырости, которая пропитывала собой всё: камень, дерево, само время. К полудню он превратился в настоящий потоп, серый, бесконечный, монотонный, словно сама природа решила стереть границы между небом и землей, растворив мир в единой водяной взвеси. Капли стучали по стеклянной крыше оранжереи с таким упорством, с такой методичной, безысходной настойчивостью, словно хотели не просто пробить её насквозь, но докричаться до кого-то внутри, достучаться до сознания, запертого в этих влажных, душных стенах.

Стёкла дрожали под напором воды, вибрировали, как натянутые мембраны, искажая и без того размытые очертания внешнего мира, превращая его в сюрреалистическое полотно, сотканное из разводов, теней и расплывчатых силуэтов голых деревьев, которые тянули к небу свои искорёженные, чёрные от влаги ветви, похожие на вены, проступающие сквозь истончённую кожу реальности. Мир снаружи казался ненастоящим, отделённым от действительности тонкой, но непреодолимой преградой стекла и влаги — прозрачной мембраной, за которой бурлила иная, холодная жизнь, лишённая смысла и цели.

Внутри же, среди густой, влажной зелени экзотических растений, собранных со всех концов империи, царила искусственная, почти тропическая духота — насыщенная запахами прелой листвы, сырой земли, раскрывающихся бутонов и чего-то неуловимо гнилостного, словно сам воздух был пропитан дыханием разложения, замаскированным под аромат жизни. Здесь, в этом зелёном лабиринте, где папоротники размером с человеческий рост соседствовали с бледными орхидеями, чьи лепестки напоминали окровавленные губы, а лианы свисали с потолка, как удавы, застывшие в ожидании жертвы, само понятие времени казалось размытым, утратившим свою линейность.

Лаборатория доктора Адама Вейсса, спрятанная на самой окраине столицы, за высоким забором из почерневшего от времени кирпича и пышным, одичавшим садом, разросшимся до состояния диких джунглей, меньше всего напоминала место, где рождаются чудеса. Скорее она походила на лавку старьевщика, в которой поселился безумный ботаник и увлечённый таксидермист одновременно, а затем добавил к своим увлечениям ещё и алхимию, довершив картину полного научного хаоса.

На полках вдоль стен, сколоченных из грубых неструганых досок, теснились банки с заспиртованными органами, плавающими в мутной, янтарного цвета жидкости, напоминающей застывший мёд, в котором навсегда застыли чьи-то сердца, лёгкие, фрагменты нервной системы — все эти частицы жизни, изъятые из своих естественных обиталищ и превращённые в экспонаты, в материал для исследований, в мрачные трофеи науки.

Связки сушёных трав свисали с потолочных балок, распространяя вокруг себя горьковатый, терпкий аромат, от которого першило в горле и слезились глаза. Перегонные кубы из потускневшей меди, переплетения стеклянных трубок, змеевиков, колб и реторт создавали ощущение, что ты попал не в научную лабораторию, а в алхимическую мастерскую средневекового чернокнижника, какими их изображают на гравюрах в старинных фолиантах, где борода-

тые мудрецы в остроконечных колпаках склоняются над кипящими котлами в поисках философского камня.

Повсюду стояли ящики с образцами, банки с порошками, склянки с жидкостями всех возможных цветов и оттенков — от бледно-голубого, как вены на запястье младенца, до ядовито-изумрудного, как глаза болотной гадюки. Воздух был пропитан запахом формалина, эфира, серы, сырой земли и едва уловимого, сладковатого аромата, который Алекс не мог идентифицировать уже вторую неделю. Этот запах, казалось, въелся в его одежду, в волосы, в самую кожу, став неотъемлемой частью его существования в этом странном месте, где смерть и жизнь переплелись в единый, неразрывный танец.

Сам Алекс сидел на высоком деревянном табурете, поджав ноги, и, затаив дыхание, наблюдал. Ему едва исполнилось девятнадцать, и его лицо, ещё по-юношески мягкое, с румянцем на щеках и трогательной припухлостью век, выдававшей в нём недавнего провинциала, не привыкшего к столичной сырости и бессонным ночам, выражало сейчас крайнюю степень сосредоточенности, смешанной с благоговейным ужасом. Он был похож на человека, который впервые в жизни присутствует при совершении священного таинства, недоступного пониманию простых смертных, на послушника, впервые допущенного в святая святых храма, где вершатся обряды, о которых он прежде лишь читал в запретных книгах.

Его глаза, серо-голубые, как вода в горном озере в пасмурный день, когда небо отражается в ней свинцовой пеленой, неотрывно следили за руками учителя. Эти руки двигались с отточенной, почти хирургической точностью, не допускающей ни малейшего колебания, ни одной лишней, суетливой ноты. В них чувствовалась не просто профессиональная выучка, а нечто большее — власть, уверенность человека, который понимает, что находится на своём месте, что каждая его манипуляция — это шаг в пропасть, где цена ошибки измеряется не в деньгах, а в человеческих жизнях. Руки Адама были сухими, длинными, с безупречно чистыми ногтями и синими прожилками вен, проступающими сквозь бледную, почти прозрачную кожу.

Они казались старше самого Адама, словно несли на себе отпечаток сотен проведённых операций, тысяч вскрытых тел и бесчисленных часов, проведённых за микроскопом. Эти руки могли бы принадлежать пианисту, скульптору, ювелиру — кому угодно, чьё искусство требует ювелирной точности, но принадлежали они врачу, который ежедневно ходил по грани между жизнью и смертью, и эта грань оставила на них невидимые, но глубокие отметины.

В одной руке Адам держал стеклянный шприц с поршнем из чёрного обсидиана — инструмент, который сам сконструировал и отладил до совершенства, потратив на это, как он однажды упомянул, три года проб и ошибок. Этот шприц был не просто медицинским приспособлением, а произведением искусства, свидетельством того, что даже в таких мрачных стенах рождается красота — холодная, функциональная, но красота. В другой руке он держал плотно перетянутый кожаный ремешок, которым только что перехватил артерию на передней лапе несчастного пса, и этот ремешок, пропитанный кровью и дезинфицирующим раствором, был символом той грубой необходимости, с которой начинается любое хирургическое вмешательство.

Шприц был наполнен жидкостью, которая при каждом движении руки Адама слегка переливалась, отбрасывая на стены причудливые, радужные блики, словно внутри стеклянного цилиндра плескался жидкий лунный свет. Жидкость была прозрачной, но при этом какой-то неуловимо маслянистой, густой, как сироп, и в глубине её, казалось, плавали микроскопиче-

ские золотые искорки, рождающиеся и умирающие в непрерывном танце, подчиняясь неведомым законам, которые были известны лишь Адаму.

Пёс был крупным, беспородным, со свалывшейся шерстью цвета мокрого пепла, напоминающей старый, выцветший войлок. Таких дворняг можно встретить на любой улице, у любой мусорной кучи, возле любой таверны, где они дерутся за объедки и ночуют под телегами, сбившись в дрожащие кучи. В его облике не было ничего примечательного, ничего благородного — обычный уличный боец, потрёпанный жизнью, покрытый шрамами от прошлых драк, с откусенным куском левого уха и кривым, сломанным в юности хвостом, который теперь неестественно торчал в сторону, словно сломанная мачта. Но именно эта обыденность, эта звериная, безыскусная простота делала его страдания особенно пронзительными, трогающими до глубины души.

Он был не породистым скакуном, не ценным охотничьим псом, не экзотическим зверем, привезённым из далёких колоний, — он был просто жизнью, борющейся за своё право на существование, и в этой борьбе не было ничего театрального, показного. Он лежал на боку на стальном столе, пристёгнутый широкими кожаными ремнями, которые, казалось, впивались в его грязную шкуру, и тяжело, со свистом дышал, приоткрывая пасть с почерневшими дёснами и обломанными клыками, напоминающими руины некогда грозного оружия. В его боку, между рёбер, зияла страшная рваная рана, оставленная, по словам Адама, кабаньим клыком — тем самым оружием, которым дикая природа награждает своих самых свирепых воинов. Края раны уже начали чернеть, а вокруг расползлось алое, воспалённое пятно, уродливое и пульсирующее, словно живое существо, пожирающее плоть изнутри, распространяющееся, как лесной пожар, который невозможно остановить.

Алекс видел, как от раны поднимается едва заметный пар — в прохладном воздухе лаборатории тепло живого, умирающего тела было особенно ощутимо, оно создавало вокруг себя невидимый ореол страдания, который можно было почувствовать кожей. Этот пар, это тепло было свидетельством того, что жизнь ещё теплится в истерзанном теле, что она борется, цепляется за каждый удар сердца, за каждый вдох, за каждый нервный импульс, за каждую клетку, отказывающуюся сдаваться на милость смерти.

Алекс впервые видел такую рану вблизи, и это зрелище потрясло его до глубины души, затронуло те струны, о существовании которых он даже не подозревал. До приезда в столицу он работал помощником деревенского лекаря, своего отца, и там ему приходилось иметь дело в основном с простудами, переломами, несварением желудка и прочими незначительными недугами, которыми страдают простые люди, живущие размеренной, монотонной жизнью, далёкой от столичных страстей и научных прорывов. Максимум, что ему доводилось наблюдать, — это ножевое ранение в пьяной драке, случившейся на деревенском празднике, или рваная рана от медвежьих когтей, которую быстро зашивали и обрабатывали дегтем, полагаясь больше на молитвы, чем на медицину. Но здесь, в этой мрачной лаборатории на окраине столицы, он столкнулся с совершенно иным уровнем медицины, с иным пониманием того, что такое исцеление.

С медициной, которая граничила с колдовством, с алхимией, с тем, что простые люди называли магией и боялись до дрожи в коленях, осеняя себя защитными знаками и шепча молитвы. Здесь, в этом месте, где пахло смертью и серой, медицина переставала быть ремеслом и становилась чем-то гораздо более могущественным — силой, способной бросать вызов самой природе, перекраивать её законы по своему усмотрению.

— Не смотри на саму рану, — тихо, но отчётливо произнёс Адам, не оборачиваясь. Его голос, низкий и ровный, был похож на звук виолончели, настроенной на октаву ниже обычного, на гул подземной реки, текущей в глубинах земли. В нём не было ни спешки, ни волнения, ни жалости. Только спокойная, уверенная властность человека, который знает, что делает, и не сомневается в своих действиях ни секунды, ибо сомнение — удел слабых, а слабость в его профессии — непозволительная роскошь. — Смотри на то, что вокруг неё. На отёк. На цвет. На то, как тело пытается само себя спасти. Оно кричит. Учись слышать этот крик прежде, чем заглушишь его. Ибо крик этот — единственный язык, на котором говорит с нами природа, и если ты не научишься понимать его, ты никогда не станешь врачом, а останешься лишь ремесленником от медицины, способным лишь следовать протоколам.

Алекс судорожно сглотнул. В горле у него пересохло, словно он провёл несколько часов в пустыне без глотка воды, а ладони стали влажными, противно липкими. Он не мог бы объяснить, почему этот пёс, грязный, полуживой, стал для него вдруг центром вселенной, точкой, в которой сфокусировались все его мысли, страхи и надежды.

Может быть, дело было в том, что у него дома, в далёкой северной провинции, где зимы длились по девять месяцев в году, жила старая охотничья сука, принёсшая ему в детстве не меньше тепла, чем мать, и эта сука, с её преданными, всё понимающими глазами, навсегда осталась в его сердце как символ невинной, бескорыстной любви.

Или в том, что он до сих пор не привык к этому месту, где страдание было не поводом для сочувствия, а лишь материалом для исследования, где боль была не трагедией, а данностью, с которой нужно работать, как скульптор работает с неподатливым мрамором, отсекая всё лишнее, чтобы явить миру скрытую под ним форму. Или, может быть, всё было гораздо проще: в глубине души Алекс был обычным мальчишкой из провинции, который искренне верил, что каждое живое существо заслуживает сострадания, и эта вера, наивная и трогательная, разбивалась о холодную реальность лабораторных будней, как волна разбивается о каменный утёс, рассыпаясь на мириады брызг, которым уже никогда не стать прежней волной.

— Мы вводим ему «Спирулу-7», — продолжал Адам, и его пальцы, сжимавшие шприц, чуть напряглись, словно он готовился к чему-то важному, к прыжку в неизвестность, из которой нет возврата. — Ты записал формулу?

— Да, учитель, — торопливо кивнул Алекс, хватаясь за кожаный блокнот, лежавший у него на коленях, как утопающий хватается за соломинку. Блокнот был потрёпанным, с загнутыми уголками и исписанными страницами, на которых его неровный, юношеский почерк теснился возле аккуратных, почти каллиграфических заметок Адама, словно робкий ученик, осмелившийся занять место рядом с мастером. — Экстракт молочая болотного, вытяжка из костного мозга младенца грифона, активированная ртуть и... и настойка лунного серебра. Я записал все пропорции.

— Ты записал то, что я тебе продиктовал, — в голосе Адама не было упрёка, лишь констатация факта, холодная и безжалостная, как математическая формула, как закон термодинамики, не знающий исключений. — Но записать — не значит понять. Записать может любой грамотный школяр, обученный каллиграфии и послушанию. Понять — только тот, кто готов заглянуть в самую суть вещей, не отводя глаз, кто готов увидеть ту бездну, что открывается за каждой формулой, за каждой дозой, за каждой гранью, отделяющей жизнь от смерти. Смотри.

Он осторожно ввёл иглу в набухшую вену, чуть выше места, где ремешок перетянул лапу. Движение было настолько плавным и выверенным, что пёс даже не вздрогнул в первое мгновение, словно не почувствовал прокола, словно его измученное тело уже не различало новые источники боли среди того океана страдания, в котором оно тонуло.

Но уже в следующую секунду его тело напряглось, выгнулось дугой, насколько позволяли ремни, и из пасти вырвался сдавленный, жалобный скулёж — звук, который, казалось, шёл не из горла, а из самой глубины его истерзанной души. Поршень медленно, миллиметр за миллиметром, погружался в стеклянный корпус, и в этом движении было что-то гипнотическое, завораживающее, словно вместе с жидкостью в тело животного вливалась сама жизнь, сама энергия бытия, концентрированная и очищенная от всего лишнего. Прозрачная, слегка маслянистая жидкость, отливающая перламутром, исчезала в теле животного, словно впитываясь в саму его суть, растворяясь в крови, распространяясь по венам, достигая самых отдалённых уголков организма.

В первые секунды ничего не происходило. Пёс продолжал дышать — тяжело, с бульканьем, которое свидетельствовало о том, что лёгкие частично заполнены жидкостью, что организм уже начал сдаваться, что смерть уже запустила свои ледяные пальцы в его внутренности. Алекс уже хотел разочарованно выдохнуть, почувствовав, как надежда, вспыхнувшая было в его груди, начинает угасать, но тут заметил нечто странное, нечто такое, от чего волосы на его затылке зашевелились. Из раны, из самых её глубин, из той бездны, где гнездилась смерть, начала сочиться тонкая, светящаяся, золотистая нить.

Она была похожа на жидкий огонь, но холодный, на расплавленное золото, но живое. Она запульсировала, словно в такт сердцебиению, то разгораясь ярче, то почти угасая, и в этом ритме было что-то древнее, что-то, что существовало задолго до появления человечества, до появления самой жизни. Затем появилась вторая нить, третья, четвёртая, и вскоре они сплетались между собой, образуя прозрачное кружево, заполняющее разорванную плоть, словно невидимый ткач взялся за восстановление разорванного полотна.

Это было похоже на то, как паук плетёт свою сеть, только сеть эта была из света и жидкого золота, из энергии, которая, казалось, не подчинялась законам физики, а жила по своим собственным правилам.

А затем началось самое страшное и самое прекрасное, что Алекс когда-либо видел в своей жизни, и он понял, что это видение навсегда останется в его памяти, будет преследовать его в снах и наяву, станет тем эталоном, с которым он будет сравнивать все последующие события своей жизни. Рана стала закрываться. Не затягиваться грубой коркой, не стягиваться краями, как это бывает при обычном заживлении, когда организм, смирившись с утратой, просто латает дыру рубцовой тканью, а именно закрываться — слой за слоем, ткань за тканью. Сначала восстанавливались стенки сосудов, тонкие и полупрозрачные, по которым вновь побежала кровь, неся жизнь в те уголки, которые уже было начали омертвляться.

Затем мышечные волокна, словно невидимый ткач сшивал их золотыми нитями, восстанавливая нарушенную целостность, возвращая мышцам их прежнюю силу и эластичность. И, наконец, сверху натянулась новая кожа, бледно-розовая, без единого шрама, без малейшего намёка на то, что здесь только что зияла смертельная рана, что здесь разверзлась пропасть, едва не поглотившая жизнь. Воспаление спадало на глазах, чернота некроза растворялась, сменяясь

здоровой, живой тканью, розовой, как у новорождённого, дышащей, наполненной жизненной силой. Это было не исцеление. Это было сотворение заново. Это было чудо, вплетённое в алхимию, как магия, ставшая наукой, как легенда, ставшая реальностью. Это был триумф человеческого разума над слепыми силами природы, над смертью, которая всегда казалась неотвратимой.

Алекс смотрел на происходящее, и ему казалось, что он видит сон. Настолько нереальным, настолько фантастическим было это зрелище, что его мозг отказывался верить глазам, отказывался принимать эту информацию, не укладывающуюся в привычные рамки.

Он знал теорию. Знал, что сыворотка регенерации, разработанная Адамом, способна восстанавливать утраченные ткани. Но одно дело — читать об этом в учебниках, в сухих научных трактатах, где между строк скрывается недоверие самого автора, и совсем другое — видеть собственными глазами, как на месте зияющей раны, за считанные мгновения, вырастает новая плоть, как жизнь побеждает смерть в самом прямом, самом буквальном смысле этого слова. Это было как наблюдать за сотворением мира в миниатюре, за тем, как из хаоса рождается порядок, как из тьмы возникает свет.

— Боги... — выдохнул Алекс, не в силах отвести взгляд. Это слово вырвалось из него помимо воли, как последний, отчаянный крик тонущего, как молитва, произнесённая в миг наивысшего потрясения. Он забыл обо всём: о холоде, пробирающемся под куртку, о неудобном табурете, о страхе, который ещё минуту назад сжимал его сердце ледяной рукой. Осталось только чудо, происходящее прямо у него на глазах, и руки человека, который это чудо совершил. Руки, которые только что держали шприц, а теперь спокойно откладывали его в сторону, словно ничего экстраординарного не произошло, словно воскрешение из мёртвых было для него рутиной, повседневной работой, не заслуживающей ни удивления, ни гордости.

— Боги тут ни при чём, — резко оборвал Адам. В его голосе появилась сталь, острая и холодная, как лезвие скальпеля, как зимний ветер на пустоши. — Боги не снисходят до псов и до грязных лабораторий на окраинах. Если бы они существовали, они бы не допустили, чтобы это создание мучилось от боли. Если бы они существовали, они бы не позволили миру быть таким, какой он есть. Это всего лишь биохимия. Алхимия. Назови как хочешь. Главное, что это работает. Главное, что это можно повторить, измерить, просчитать. Молитвы не лечат. Лечат знание и воля.

Он отложил шприц, развязал ремешок и, бросив быстрый взгляд на пса, принялся отстёгивать ремни. Его движения были скупыми, точными, лишёнными всякой суеты и нервозности. Животное дышало ровно и спокойно, как будто спало, как будто не прошло и нескольких минут с момента, когда оно корчилось в агонии на этом самом столе. Рана полностью затянулась, оставив лишь пятно запёкшейся крови и сукровицы на шерсти — свидетельство недавней трагедии, которое вскоре смоется, исчезнет, как исчезают все следы, оставленные смертью, когда жизнь решает вернуться. Ни следа воспаления, ни намёка на некроз. Только розовая, здоровая кожа, словно у новорождённого щенка, кожа, которая никогда не знала ран, не знала боли, не знала прикосновения смерти.

— Потрясающе, — прошептал Алекс. Он смотрел на учителя с обожанием, какое испытывают только юные, наивные души к тем, кто кажется им полубогом, спустившимся на землю, чтобы вершить судьбы простых смертных. В его глазах Адам представал не просто талантливым медиком, а кем-то гораздо большим — магом, волшебником, человеком, которому под-

властны законы природы, который способен повелевать самой жизнью и смертью. — Вы... Вы спасли его! Вы его воскресили!

— Я его подлатал, — Адам вытер руки чистой тряпкой и бросил её в ведро, стоявшее у стола, и в этом жесте была вся его философия — никакого пафоса, никакого героизма, только работа, только результат. Его движения были скупыми, экономными, лишёнными всякой театральности. — Не больше. Его спасёт время и уход. И хорошая кормёжка, которой он, судя по всему, не видел с рождения. Ты видишь чудо, а я вижу протокол.

Запиши, что регенерация началась через сорок три секунды после введения препарата. Полное закрытие раны — через одну минуту двадцать семь секунд. Побочные эффекты — болевой шок, тахикардия, возможные спазмы. Все это нужно документировать. Каждая деталь имеет значение, ибо в деталях скрывается истина, а истина — это то, что отличает науку от шарлатанства.

Алекс схватил блокнот и принялся лихорадочно писать, стараясь зафиксировать каждое слово учителя, каждую цифру, каждое наблюдение. Его почерк от волнения стал ещё более неровным, буквы прыгали и наползали друг на друга, но он старался изо всех сил. Ему казалось, что эти записи — самое важное, что он когда-либо делал в своей жизни. Что они станут основой будущих открытий, будущих спасений, будущих чудес, которые, возможно, когда-нибудь изменят мир к лучшему. Что когда-нибудь, спустя годы, он откроет этот потрёпанный блокнот и вспомнит тот день, когда впервые увидел, как наука побеждает смерть.

Адам подошёл к раковине, сделанной из цельного куска серого камня, выточенного, казалось, из самой скалы, и включил воду. Тонкая струйка потекла, смывая с его пальцев невидимые остатки сыворотки и кровь. Вода была ледяной, но он, казалось, не замечал этого, как не замечал многого другого, что могло бы отвлечь его от работы.

Его лицо, отражавшееся в потемневшем латунном зеркале над раковиной, было неподвижным, как маска, застывшая в выражении вечной сосредоточенности. Только в уголках рта залегли едва заметные складки — следы усталости и бессонных ночей, тех ночей, которые он проводил за микроскопом, за расчётами, за экспериментами, жертвуя сном и покоем ради того, что только что произошло на этом столе.

— Ты видел, как он дрожал, когда я вводил препарат? — спросил Адам, не поворачиваясь, и его голос, отражённый от каменных стен, прозвучал глухо, словно доносился из склепа.

— Да, учитель.

— Это был болевой шок. Если бы доза была на четверть грана больше, его сердце не выдержало бы. Сыворотка сжигает не только омертвевшие ткани, но и, на первых минутах, нервные окончания. Пациент испытывает боль, сравнимую с прижиганием калёным железом, с той болью, которую не выдерживают даже самые стойкие.

Некоторые не выдерживают. Умирают от остановки сердца прямо на операционном столе. А если доза недостаточна, регенерация не запустится, и мы просто зря потратили бы ингредиенты стоимостью в десять годовых жалований младшего лекаря. Понимаешь, о чём я?

Он выключил воду и медленно повернулся. Его лицо, обрамлённое угольно-чёрными волосами, ниспадавшими на плечи волнами, было бледным, с острыми скулами и тонкими, словно выточенными из мрамора, чертами.

Под глазами залегли глубокие тени, придававшие ему вид человека, который давно не спит и живёт на одной воле, на том внутреннем огне, что сжигает его изнутри. Но взгляд, пронзительный и тяжёлый, не выдавал ни усталости, ни сочувствия. Только холодный, аналитический интерес, с которым он смотрел на мир, как на большую лабораторию, где каждый живой организм — лишь объект для исследования, лишь материал для опытов, лишь ступень к новым вершинам познания.

— Запомни главное правило, Алекс, — сказал он, подходя к ученику почти вплотную. Алекс чувствовал исходящий от него запах — смесь эфира, формалина и ещё чего-то неуловимого, возможно, самой смерти, которая привыкла отступать перед этим человеком, но оставляла на нём свой след. — Лекарство — это яд, а яд — это лекарство. Вопрос лишь в дозе и цене.

Эти слова, произнесённые тихим, но не допускающим возражений тоном, повисли в густом, душном воздухе лаборатории, словно не желая растворяться, словно обретая физическую форму, они материализовались и теперь парили между учителем и учеником, как незримый контракт, скреплённый печатью общего тайного знания. Алекс слышал их не в первый раз — Адам повторял их с маниакальной настойчивостью, словно заклиная, словно пытаясь вбить эту простую, но страшную истину в голову своего ученика, словно от того, усвоит ли он её, зависела не только его карьера, но и сама жизнь. Но именно сейчас, после увиденного чуда, они обрели для юноши новую, пугающую глубину.

Впервые он осознал, какая тонкая грань отделяет спасение от гибели, жизнь от смерти, чудо от проклятия. Какая власть заключена в руках того, кто знает эту грань. И какой холодной, должно быть, должна быть душа, чтобы ходить по этой грани, не дрогнув, не сорвавшись, не упав в ту бездну, что разверзается под ногами.

Алекс посмотрел на свои руки — молодые, ещё не привыкшие к инструментам, с розовыми, не огрубевшими ладонями. Сможет ли он когда-нибудь так же спокойно, так же уверенно вводить препарат, зная, что на кону — жизнь и смерть, зная, что малейшая ошибка, малейшая неточность в дозировке может стоить пациенту жизни? Сможет ли он смотреть на страдания и видеть не боль, а биологический процесс? Сможет ли он убить, чтобы спасти? Эти вопросы жгли его изнутри, как кислота, разъедали его наивные представления о мире, оставляя после себя лишь выжженную пустошь сомнений и неуверенности.

— Теперь займись псом, — распорядился Адам, отходя к своему рабочему столу, заваленному пергаменами, приборами и раскрытыми фолиантами, в которых были запечатлены знания, недоступные простым смертным. — Перетащи его в клетку, обеспечь тепло и воду. Через два часа — редкий бульон. Он будет спать долго. Не буди.

Алекс кивнул и, спрыгнув с табурета, принялся осторожно, но неумело отвязывать пса. Его руки всё ещё дрожали от пережитого возбуждения, от того эмоционального шторма, что бушевал в его душе. Он чувствовал невероятный прилив энергии, восторг, смешанный с каким-то новым, шемющим чувством причастности к чему-то великому и опасному. Ему хотелось закричать, запрыгать, спросить тысячу вопросов, поделиться с кем-нибудь тем, что он только что пережил. Но в присутствии Адама он научился сдерживать свои порывы.

Учитель не любил проявления бурных эмоций, называя их «пустой тратой жизненной силы». Он считал, что эмоции затуманивают разум, мешают принимать правильные решения, делают человека уязвимым, словно открытая рана, в которую может проникнуть инфекция. И Алекс, как прилежный ученик, старался соответствовать этим требованиям, хотя это давалось ему с большим трудом, требуя постоянного самоконтроля.

Подняв пса — тот оказался на удивление тяжёлым, килограммов тридцать, не меньше, и в этом весе чувствовалась какая-то последняя, отчаянная цепкость жизни, не желающей покидать брентную оболочку — Алекс отнёс его в дальний конец лаборатории, где стоял ряд металлических клеток, отгороженных ширмой. Внутри одной из них была навалена груда старых одеял, пахнувших пылью и собачьей шерстью, — свидетельство того, что это место уже не раз служило убежищем для подобных пациентов. Он устроил животное там, накрыл сверху ещё одним пледом и поставил рядом миску с чистой водой.

Пёс действительно спал, его бока мерно вздымались, а на заросшей морде, как показалось Алексу, появилось умиротворённое выражение. Исчезла гримаса боли, искажавшая его черты, исчез страх, застывший в глазах. Остался только покой — глубокий, целительный покой, который дарит организму возможность восстановиться.

Алекс задержался возле клетки, разглядывая спящее животное. Ему казалось невероятным, что существо, ещё час назад стоявшее на пороге смерти, теперь спит сном здорового, уставшего зверя. Он присел на корточки и осторожно, кончиками пальцев, коснулся шерсти на голове пса. Шерсть была жёсткой, грубой, но при этом удивительно живой на ощупь. Под ней угадывалось тепло — ровное, здоровое тепло, свидетельствующее о том, что жизнь вернулась в это тело и теперь крепко держится за него, не собираясь уходить.

Он вернулся к центральному столу, где Адам, сгорбившись над окуляром сложного медного микроскопа, что-то внимательно изучал в капле крови. Свет от масляной лампы падал на его профиль, заостряя и без того резкие черты.

Он казался вырезанным из того же тёмного дерева, что и колонны в кабинете его покровителей — таинственных, могущественных людей, которые финансировали исследования Адама, но никогда не показывались в лаборатории лично. В нём всё было контрастом по отношению к Алексу: молодость и зрелость, невинность и умудрённость, восторг и цинизм. Они были как два полюса одной планеты, как свет и тень, как жизнь и смерть, сошедшиеся в одной точке пространства и времени, чтобы создать нечто новое, нечто, чему ещё предстояло проявиться.

— Учитель, — осторожно начал Алекс, нарушая тишину, которая, казалось, сгустилась до предела, став почти осязаемой. — А почему вы не используете «Спирулу-7» для... для людей?

Адам не поднял головы. Он продолжал смотреть в микроскоп, слегка подкручивая винт настройки. Его пальцы двигались с той же точностью, что и при работе со шприцем, и в этом движении было что-то гипнотическое.

— А что, по-твоему, я делаю?

Вопрос был простым, но в нём скрывалась бездна, и Алекс, заглянув в эту бездну, почувствовал головокружение. Он действительно не задумывался об этом раньше. Ему казалось, что Адам занимается в основном исследованиями, экспериментами, разработкой новых препаратов. Что он работает на будущее, на науку, на прогресс. Что его труды когда-нибудь изменят мир к лучшему, сделают его более справедливым, более милосердным.

— Я думал... вы лечите безнадежных. Тех, от кого отказались другие лекари. К вам же приходят с последней надеждой.

— Приходят, — кивнул Адам. — Платят. И уходят либо исцелёнными, либо в могилу. Иногда им так лучше.

Он произнёс это так буднично, так равнодушно, что Алекс вздрогнул. В его представлении врач должен был сострадать своим пациентам, бороться за их жизнь до последнего вздоха. А тут — «иногда им так лучше». Слово смерть была не трагедией, а избавлением, словно жизнь была не даром, а проклятием, от которого не каждый хотел быть спасённым.

— Но неужели нельзя... — Алекс запнулся, подбирая слова. Ему было трудно формулировать то, что он чувствовал. Это было похоже на попытку описать цвет слепому, на попытку объяснить вкус воды тому, кто никогда не испытывал жажды. — Неужели нельзя сделать так, чтобы это было доступно всем? Представьте, сколько жизней можно было бы спасти! Раненые солдаты, больные дети, простые люди, которые не могут позволить себе дорогостоящее лечение...

Адам оторвался от микроскопа и, наконец, посмотрел на ученика. В его тёмных, почти чёрных глазах читалась ирония, смешанная с чем-то похожим на усталую жалость. Так смотрят на ребёнка, который только что узнал, что подарки под ёлку подкладывает не волшебник, а родители, и что мир устроен гораздо сложнее и прозаичнее, чем ему казалось.

— Юный идеализм, — произнёс он. — Это, знаешь ли, роскошь, доступная лишь тем, кто не видел, как чума выкашивает целые деревни, и не обогащался на этом. Ты говоришь о сотнях жизней, а думаешь ли ты о ресурсах? Из одного новорождённого грифона, выращенного в неволе, можно получить сыворотку для десяти, максимум пятнадцати таких случаев, как с этим псом. Ты видел, сколько сил ушло на его восстановление. А теперь умножь это на сотню. На тысячу. На десятки тысяч страждущих. Империя рухнет, пытаясь накормить своих инвалидов.

Он встал из-за стола и подошёл к окну, выходящему в оранжерею. За стеклом, по которому продолжали стекать струи дождя, угадывались силуэты растений — папоротников, орхидей, каких-то вьющихся лиан, свисающих с потолка. Адам смотрел на эту зелень, но, казалось, не видел её. Его мысли были далеко — возможно, в тех самых деревнях, которые выкосила чума, или в кабинетах министров, которые предпочли не замечать эту чуму.

— Ты думаешь, я не пытался? — продолжал он тише, и в его голосе впервые прозвучала горечь. — Думаешь, я не обращался к властям, не предлагал свои разработки? Мне сказали, что это слишком дорого. Что бюджет не предусматривает расходы на массовое исцеление. Что алхимия — удел избранных, а не толпы. И знаешь, что самое смешное? Эти же люди, которые отказали мне, приходят ко мне тайно, под покровом ночи, и платят бешеные деньги за то,

чтобы я спас их собственные шкуры. Они готовы отдать состояние за ампулу сыворотки, но не готовы потратить грош на то, чтобы эта сыворотка стала доступной для всех.

Он помолчал, затем добавил:

— Мир не хочет быть спасённым. Мир хочет быть спасённым избирательно. Такова природа власти.

Алекс слушал, затаив дыхание. Слова учителя падали на него, как камни, каждое — весомым, тяжёлым. Он чувствовал, как его идеализм, его наивные представления о добре и справедливости трещат по швам, обнажая неприглядную правду. Но в то же время в его душе рождался протест. Нет, так не должно быть! Если лекарство существует, оно должно принадлежать всем! Это же элементарная человечность!

— Но это же... это же бесчеловечно! — вырвалось у Алекса, и он сам удивился тому, сколько боли было в его голосе.

Адам усмехнулся — коротко, беззвучно, одними уголками губ. Усмешка вышла больше похожей на гримасу.

— Бесчеловечно — это когда умирает твой единственный сын, потому что министр финансов решил, что субсидии на алхимическую программу лучше потратить на новый фонтан в парке. Бесчеловечно — когда ценность человеческой жизни измеряется глубиной кармана и родословной. А всё остальное, мой милый Алекс, — это просто экономика. Скудная, жестокая, но экономика.

Он отвернулся обратно к микроскопу, давая понять, что разговор окончен. Алекс остался стоять посреди лаборатории, переваривая услышанное. В его голове впервые сталкивались два непримиримых мира: мир чистой науки, где каждое открытие приближает человечество к процветанию, и мир реальной политики, где даже чудо имеет свою цену. И эта цена, как он начал понимать, была непомерно высока.

Он подошёл к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Дождь не прекращался. За окном было серо, мокро, уныло. Столица, раскинувшаяся внизу, казалась размытым пятном, в котором лишь изредка угадывались шпили соборов и дымовые трубы. Где-то там, в этом городе, жили люди, которые не знали о существовании лаборатории на окраине, о чудесах, которые в ней творятся, о ценах, которые за эти чудеса платятся. Они жили своей обычной жизнью, полной мелких забот и мелких радостей, не подозревая, что совсем рядом, за высоким забором, решаются вопросы жизни и смерти.

Алекс подумал о том, что сам он уже никогда не сможет вернуться к той простой, понятной жизни. Что-то в нём сломалось сегодня, что-то важное и невозполнимое. Он увидел обратную сторону медицины, ту, о которой не пишут в учебниках и не рассказывают на лекциях. И это знание изменило его навсегда.

Через несколько часов, когда дождь прекратился и в оранжерею через стеклянную крышу пробились первые лучи тусклого вечернего солнца, Адам внезапно поднялся из-за стола и накинул на плечи длинный тёмный плащ. Он двигался быстро, решительно, словно принял какое-то важное решение.

— Меня не будет до завтрашнего полудня, — сказал он, застёгивая бронзовую пряжку у горла. — Следи за лабораторией. Если придёт человек с родинкой на левой щеке и кольцом в виде змеи, проводи его в кабинет и скажи, что он сможет забрать заказ на следующей неделе. Никаких имён. Никаких записей.

— Хорошо, учитель.

— Если псу станет хуже, — Адам помедлил, словно взвешивая каждое слово, — дай ему отвар из белой ивы с каплей снотворного. Но не вздумай трогать мои колбы. Особенно те, что с красной маркировкой.

— Конечно, учитель.

Адам уже взялся за ручку двери, но обернулся. В его глазах, обрамлённых тенями, на мгновение мелькнуло что-то человеческое — не то тревога, не то сожаление. Но это длилось лишь секунду, и Алекс не был уверен, что ему не показалось.

— И да, Алекс. То, что ты видел сегодня, останется между нами. Империя не прощает тех, кто умеет воскрешать из мёртвых слишком дёшево.

Он вышел, и дверь с тихим щелчком закрылась. Алекс остался один в огромном помещении, наполненном тенями и таинственными бликами. Звук капающей воды из неисправного крана, скрип половиц под ногами, шорох дождя, возобновившегося с новой силой, — все эти звуки сливались в зловещую, заволаговещающую мелодию. Он подошёл к клетке пса. Животное по-прежнему спало, но теперь в его дыхании не было прежнего хрипа. Оно дышало так ровно и глубоко, как дышат здоровые звери после долгой охоты.

Алекс опустился на корточки и просунул палец сквозь прутья клетки, чтобы коснуться мягкой шерсти на его лбу. Ему было страшно. И дело было не в угрозе, прозвучавшей в последних словах учителя, не в мрачной атмосфере лаборатории и не в осознании того, что он оказался втянут во что-то опасное. Страх был другим, экзистенциальным. Сегодня он прикоснулся к божественному. Увидел, как рукотворное лекарство возвращает жизнь умирающей плоти.

И это видение разбило что-то внутри него, что-то простое и понятное, оставив взамен лишь осколки сомнений и пепел разочарования. Он впервые понял, что доктор Адам — не добрый волшебник, творящий чудеса из любви к ближнему. Он — кузнец, кующий клинки из человеческих судеб. И этот клинок мог быть обращён во благо, а мог — во зло.

Алекс поднялся и прошёлся по лаборатории, разглядывая банки с органами, колбы с жидкостями, приборы, назначение которых он ещё не понимал. Каждая вещь здесь дышала тайной, каждая склянка могла содержать в себе спасение или гибель. Он чувствовал себя вором, пробравшимся в сокровищницу, полную несметных богатств, но не знающим, как ими распорядиться.

За окном стемнело. Дождь то усиливался, то затихал, словно не мог решить, закончиться ему или продолжаться. Алекс зажёл несколько масляных ламп, и их неровный, пляшущий свет наполнил лабораторию причудливыми тенями. В этом освещении банки с органами выглядели ещё более зловеще, а перегонные кубы отбрасывали на стены длинные, изломанные отражения.

Он сел за грубый деревянный стол и раскрыл свой блокнот. Переписывая формулы, он снова и снова прокручивал в памяти сцену исцеления пса. Золотая нить, пульсирующая в такт сердцу. Запах перламутровой жидкости. Слова учителя: «Вопрос лишь в дозе и цене». Он думал о том, какую цену он сам готов заплатить за это знание. И готов ли он вообще?

Ему вспомнился отец — простой деревенский лекарь, который лечил крестьян травами и отварами, не беря с них денег, если видел, что у них ничего нет. Отец верил, что медицина должна служить людям, а не наоборот. Он был идеалистом, как и Алекс, и умер бедным, но уважаемым человеком. Что бы он сказал, если бы увидел своего сына в этой мрачной лаборатории, среди запрещённых ингредиентов и тайных экспериментов? Осудил бы? Понял? Или просто промолчал, глядя с той же усталой жалостью, что и Адам?

Сон сморил его уже далеко за полночь. Он даже не заметил, как уснул, уронив голову на сложенные руки. Ему снилось поле битвы, заваленное телами. И он, в белом халате, ходил между ранеными, вводя им золотую сыворотку. Тела вставали, благодарили его и уходили в бой. А он смотрел на свои руки и видел, что они по локоть в крови. И у этой крови был вкус лекарства.

Проснулся он от громкого стука в дверь. Сердце его бешено колотилось. За окнами стояла глубокая ночь, но сквозь щели в ставнях пробивался неверный, пляшущий свет факелов. Стук повторился, настойчивый, требовательный. Алекс подскочил с кровати, накинул на плечи куртку и, подойдя к входной двери, осторожно спросил:

— Кто здесь?

— Открывай, именем Императора, — раздался грубый, властный голос.

Стук стал громче, и в дверь будто ударили чем-то тяжёлым. Алекс замер. Мысли замесались испуганными птицами. Адама нет. Лаборатория полна запрещённых ингредиентов. И исцелённый пёс в клетке — живое доказательство того, что они здесь проводили незаконный эксперимент. Он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота.

— Последнее предупреждение! — гаркнули снаружи. — Именем Императора, откройте!

Дверь содрогнулась от мощного удара, и деревянная щеколда с треском надломилась. В щель просунулся кончик лома. Снаружи слышалось бряцание оружия и приглушённый приказ. Алекс знал, что бежать некуда. Оранжерея была ловушкой. Он глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь, и шагнул к двери. В его голове пронеслась одна-единственная мысль: «Вот и цена, о которой говорил учитель».

Дверь с грохотом распахнулась.

На пороге стояли королевские стражи. В свете факелов их доспехи отливали зловещим багрянцем, а глаза, холодные и бесстрастные, смотрели прямо в душу.

— Адам Вейсс? — спросил командир, разворачивая пергамент с печатью. — Вы арестованы по обвинению в государственной измене.

Глава 2. Полевые испытания

Вспышка началась внезапно, как это обычно и бывает с болезнями, приходящими из низин, — без предупреждения, без зловещих знамений, без того чтобы дать людям время подготовиться, собраться с мыслями или хотя бы запереть двери. Она просочилась в город так же незаметно, как вечерний туман просачивается в щели старых домов, и точно так же не оставила после себя ничего, кроме сырости, холода и ощущения, что где-то рядом бродит нечто темное, невидимое и неумолимое. Никто не мог сказать точно, кто был первым, и это отсутствие определенности само по себе пугало сильнее любых фактов. Когда болезнь приходит без имени, без лица, без известного источника, она кажется не просто угрозой, а чем-то почти мистическим, словно наказанием, посланным неведомыми силами за грехи, о которых никто не помнит.

То ли старьевщик, скупавший тряпье у приезжих с южных болот, то ли прачка, стиравшая белье в зараженной воде канала, то ли нищий мальчишка, спавший под мостом возле сточной трубы, — все они были лишь первыми случайными жертвами, но никто из них не знал, что уже стал звеном в цепи, которая вскоре опутает весь Нижний город. Болезнь не спрашивала имен и не смотрела на лица. Ей было безразлично, кто перед ней — старик, ребенок, женщина, мужчина, богатч или бедняк. Она просто пришла в Нижний город — лабиринт узких улочек, покосившихся домов и зловонных подворотен, где жизнь всегда висела на волоске, а смерть была такой же привычной соседкой, как голод и холод.

Нижний город был местом, которое даже в лучшие времена не знало покоя и благополучия. Он расползался по низине, как грязное пятно на карте столицы, и от него всегда исходило ощущение безысходности, какое бывает в местах, где люди рождаются, живут и умирают, не имея ни малейшей надежды выбраться за пределы своего квартала.

Узкие улочки здесь извивались, как змеи, то ныряя в темные арки, то выныривая на крошечные площади, заваленные мусором и нечистотами. Дома стояли так тесно, что их стены почти соприкасались, образуя сплошную стену из облупившейся штукатурки, подгнивших балок и покосившихся дверей, за которыми ютились семьи из восьми-десяти человек в одной комнате. Воздух был пропитан запахами сырости, гниющей рыбы, дешевого табака, конского навоза и той особенной, кисловатой вони, которая появляется только в местах, где люди живут слишком скученно и слишком бедно. В таких условиях любая болезнь распространялась быстрее, чем слухи о ней, а слухи здесь расходились с такой скоростью, что даже ветер не поспевал за ними.

Первые слухи о странной лихорадке достигли лаборатории Адама Вейсса на третий день после начала вспышки, и это промедление, как выяснилось позже, стоило жизни как минимум дюжине человек. Принес их, как ни странно, не гонец от городских властей и не представитель гильдии лекарей, которые, как обычно, делали вид, что в Нижнем городе вообще ничего не происходит, а тот самый пес, которого они спасли неделю назад.

Точнее, принес их мальчишка-посыльный, разыскавший Адама по поручению местного цирюльника, отчаявшегося справиться с нарастающим потоком больных. Цирюльник этот, человек по имени Маркус, был известен в Нижнем городе как последняя инстанция для тех, кто не мог позволить себе настоящего врача: он рвал зубы, вправлял вывихи, накладывал швы и варил сомнительные отвары из трав, собранных на окраинных пустырях. Но когда к нему

начали приходить люди с одинаковыми симптомами — жаром, сыпью, рвотой и такой слабостью, что они падали на пороге, — он понял, что его познаний недостаточно, и послал мальчишку на окраину столицы, где, по слухам, жил и работал странный ученый, не признанный гильдией, но умеющий то, чего не умели признанные.

Алекс, услышав новость, первым делом взглянул на пса, мирно дремавшего в углу лаборатории. Это был крупный, лохматый зверь неопределенной породы, с рыжевато-серой шерстью, седыми подпалинами на морде и удивительно умными глазами, в которых, как казалось Алексу, читалось куда больше понимания, чем у большинства людей.

Они нашли его неделю назад на задворках рынка, полуживого, с перебитой лапой и рваной раной на боку, и Адам, к немалому удивлению Алекса, настоял на том, чтобы забрать его в лабораторию и выходить. С тех пор пес, которого Адам без особой фантазии назвал просто Псом, стал неотъемлемой частью их жизни: он спал в углу, грелся у печи, иногда выходил на улицу, но всегда возвращался, и в его присутствии было что-то успокаивающее, напоминающее о том, что за стенами лаборатории существует мир, где есть не только пробирки, реактивы и бесконечные журналы наблюдений.

Алекс подумал о том, что смерть всегда ходит рядом с жизнью, как тень ходит за человеком, и что этот пес, спасенный от смерти, теперь стал невольным свидетелем того, как смерть снова напоминает о себе — на этот раз в масштабах целого квартала. В этом было что-то глубоко ироничное, почти циничное, и от этой мысли Алексу стало не по себе.

Адам выслушал посыльного, не прерывая, не задавая вопросов, не выказывая ни удивления, ни тревоги, ни сочувствия. Он стоял у стола, скрестив руки на груди, и его лицо оставалось неподвижным, как маска, вырезанная из темного мрамора. Свет масляной лампы падал на его резкие черты, подчеркивая глубокие тени под глазами, впалые щеки и тонкие губы, сжатые в прямую линию. Адам Вейсс был человеком, который давно научился не показывать эмоций — не потому, что не испытывал их, а потому, что считал их помехой в работе.

Он был исследователем до мозга костей, и даже самые страшные известия он воспринимал не как трагедию, а как задачу, требующую решения. Только пальцы, слегка постукивавшие по предплечью, выдавали внутреннее напряжение, да еще едва заметное подрагивание века, которое Алекс, успевший изучить повадки учителя, научился распознавать как признак глубокой сосредоточенности. Когда мальчишка закончил свой сбивчивый, торопливый рассказ, Адам коротко кивнул, бросил ему медную монету — небрежно, не глядя, — и повернулся к Алексу.

— Собирайся, — сказал он. — Мы выдвигаемся через час.

— Куда, учитель? — спросил Алекс, хотя уже знал ответ. Он задал этот вопрос скорее по привычке, чем из необходимости уточнить, потому что в голове у него уже сложилась полная картина того, что им предстоит.

— В Нижний город. Туда, где люди мрут как мухи и где никому нет до этого дела. Если мы не поедem, не поедет никто. Городские власти будут отмахиваться до тех пор, пока болезнь не перекинется на их драгоценные кварталы, а гильдия лекарей и пальцем не пошевелит, если только не увидит в этом выгоду. Ты же знаешь, как это работает.

Алекс ожидал, что Адам откажется. В конце концов, они были исследователями, а не городскими лекарями, и их работа заключалась не в том, чтобы лечить больных, а в том, чтобы искать закономерности, изучать природу болезней, разрабатывать препараты, которые, возможно, когда-нибудь будут использовать другие. Их лаборатория находилась на окраине столицы, вдали от эпидемий и чумы, которые время от времени выкашивали бедные кварталы, и Адам не раз говорил, что исследователь должен держаться на расстоянии от объекта изучения, чтобы сохранять объективность.

Но он ошибся, и это было одно из тех редких заблуждений, которые приятно осознавать, потому что они показывают, что даже самые холодные и расчетливые люди способны на нечто большее, чем просто расчет. Что-то в этой новости задело Адама, пробудило в нем тот холодный, расчетливый интерес, который появлялся всякий раз, когда речь заходила о новом вызове, о новой загадке, о новой болезни, не поддающейся обычному лечению. Возможно, дело было в том, что симптомы, описанные мальчишкой, напоминали те, что Адам изучал по старым манускриптам, привезенным из экспедиций на южные болота.

Возможно, он просто не мог устоять перед возможностью испытать свою новую сыворотку в реальных условиях. А возможно, и то и другое вместе, потому что Адам был человеком сложным, многослойным, как те минералы, которые он коллекционировал в свободное время, и понять его до конца не удавалось даже тем, кто знал его много лет.

Сборы заняли меньше часа. Адам, как всегда, был точен и методичен, и в его движениях не было ни суеты, ни торопливости, ни малейшего признака волнения. Он отобрал необходимые инструменты — скальпели, зажимы, пинцеты, иглы, стетоскоп, — упаковал их в походные кофры, обтянутые потемневшей от времени кожей, проверил запас реагентов и приготовил несколько доз сыворотки, над которой работал последние месяцы.

Это было новое лекарство, еще не прошедшее полного цикла испытаний, созданное на основе экстракта болотных пиявок, выловленных в гнилых прудах западных топей. Алекс помнил, как Адам привез их из экспедиции несколько месяцев назад — склизких, извивающихся, с присосками, способными прокусить кожу человека, — и как он тогда не понимал, зачем учителю понадобились эти отвратительные создания.

Они хранились в специальном аквариуме, который Адам оборудовал в дальнем углу лаборатории, и Алекс старался не смотреть в ту сторону, потому что вид этих существ вызывал у него почти физическое отвращение. Теперь, глядя, как Адам осторожно разбавляет концентрированную вытяжку в специальном растворе, он начинал догадываться, что за всем этим стоял какой-то давний, продуманный план.

— Лекарство от лихорадки, — пояснил Адам, не отрываясь от работы, и его голос прозвучал так буднично, словно речь шла о самом обычном деле. — Пиявки выделяют вещество, препятствующее свертыванию крови. Это известно давно, и именно поэтому их использовали в медицине на протяжении веков. Но в правильной концентрации, в сочетании с серебряной эссенцией и вытяжкой из корня мандрагоры, оно способно разрушать токсины, которые вырабатывает инфекция. Проблема в том, что мы еще не до конца понимаем механизм действия. Мы знаем, что препарат работает, но не знаем почему. А это значит, что мы не можем предсказать все возможные последствия его применения.

— И вы хотите испытать его на людях? — спросил Алекс, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Он не хотел, чтобы его вопрос прозвучал как обвинение, но что-то в этой идее вызывало у него глубокое беспокойство.

— Я хочу спасти людей, — ответил Адам, подняв на него глаза, и в его взгляде было столько решимости, что Алексу стало не по себе. — И да, испытать лекарство. Одно другому не мешает. Вспомни первое правило.

— Лекарство — это яд, а яд — это лекарство, — послушно процитировал Алекс, чувствуя, как эти слова, которые он повторял десятки раз, теперь наполняются каким-то новым, зловещим смыслом.

— Именно. И сейчас у нас есть шанс доказать это на практике. В лаборатории мы можем моделировать лишь отдельные аспекты болезни. Мы выращиваем культуры, ставим опыты на животных, наблюдаем за реакциями в контролируемых условиях. Но все это — лишь приближение к реальности. В поле, на живых пациентах, мы увидим полную картину. Увидим, как организм реагирует на препарат, как развивается иммунный ответ, какие побочные эффекты возникают. Это бесценный материал, Алекс. Бесценный. Ты даже не представляешь, сколько лет работы может заменить одна такая экспедиция.

Алекс промолчал. Он понимал логику учителя, понимал, что без полевых испытаний невозможно продвинуться в науке, что все великие открытия были сделаны ценой чьих-то страданий и чьих-то смертей. Но он не мог избавиться от чувства, что они собираются использовать человеческое горе как экспериментальную площадку, что они едут в Нижний город не только для того, чтобы помочь, но и для того, чтобы извлечь из чужой беды научную выгоду. Впрочем, разве у них был выбор?

Если лекарство окажется эффективным, десятки, сотни людей будут спасены, и их семьи, их дети, их друзья получат шанс на жизнь. А если нет... что ж, они хотя бы узнают, что не работает, и это тоже знание, которое может пригодиться в будущем. В науке, как и в жизни, не бывает бесполезных результатов — бывают только неверные выводы.

Они выехали, когда солнце уже начало клониться к закату, и его косые лучи, пробивавшиеся сквозь облака, окрашивали город в тревожные оранжево-багровые тона, словно предвещая кровь, которую им предстоит увидеть. Дорога в Нижний город заняла около часа, и за это время Алекс успел не только устать от тряски, но и погрузиться в глубокую задумчивость, из которой его не могли вывести даже звуки города, постепенно менявшего свой облик.

Он сидел рядом с Адамом в крытой повозке, запряженной парой вороных лошадей, и смотрел, как за окном меняется пейзаж. Сначала они проезжали через богатые кварталы с их широкими проспектами, ухоженными парками и величественными особняками, украшенными колоннами и лепниной; здесь воздух был чист и прозрачен, и даже запахи были другими — дорогих духов, свежей выпечки, цветущих садов.

Затем начались кварталы среднего достатка — аккуратные домики с черепичными крышами, лавки, мастерские, трактиры, в которых собирался торговый люд; здесь жизнь была ключом, но уже не такой размеренной и уверенной, как в богатых районах. И, наконец, начался Нижний город — бесконечное море кривых улочек, обшарпанных фасадов, зловонных канав и мрачных подворотен, где, казалось, сама земля была пропитана страданием.

Здесь, в этой части столицы, солнце, казалось, светило иначе — тусклее, равнодушнее, словно и оно не хотело заглядывать в эти места, не желая пачкать свои лучи о грязь, покрывавшую мостовые и стены домов. Дома теснились друг к другу, как испуганные звери, сбившиеся в стадо перед лицом опасности, их стены были покрыты сыростью и копотью, а окна, заколоченные досками или завешанные грязными тряпками, напоминали пустые глазницы, в которых давно погас свет. Воздух был тяжелым, пропитанным запахами гниения, отходов, сырой земли и человеческого пота, и этот коктейль ароматов был настолько плотным, что казалось, его можно было резать ножом.

Алекс почувствовал, как к горлу подступает тошнота, и ему пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы справиться с этим ощущением. Он подумал о том, что люди, живущие здесь, наверное, уже не замечают этого запаха, как не замечают они и многих других вещей, от которых нормальный человек давно бы сошел с ума. Привычка — страшная сила, и она позволяет выживать даже в самых невыносимых условиях.

Мобильный госпиталь они развернули в помещении заброшенной кожевенной мастерской на пересечении двух улиц, где, по словам местных, еще несколько лет назад работали дубильщики, пока очередная эпидемия не выкосила большую часть работников. Место было выбрано не случайно: отсюда открывался хороший обзор на несколько кварталов, а само здание, хоть и полуразрушенное, имело достаточно просторный зал, где можно было разместить больных. Правда, в нем все еще пахло дубильными веществами и старой кожей, но Адам заявил, что это даже к лучшему: дубильная кислота обладает антисептическими свойствами и может замедлить распространение заразы.

Алекс не был уверен, что это правда, но спорить не стал, потому что учитель, как всегда, был непреклонен, а тратить время на бессмысленные дискуссии, когда люди умирают на улицах, было бы преступлением. Адам лично руководил установкой походных коек, распределением инструментов и приготовлением рабочих растворов, и в его действиях было что-то от командующего, готовящего войско к битве. Алекс, следуя его указаниям, развешивал масляные лампы, расставлял склянки и готовил повязки, и с каждой минутой его волнение нарастало, потому что он знал: скоро сюда придут люди, которые будут смотреть на них с надеждой, и эта надежда будет тяжелее любого груза.

Первые больные начали приходить еще до наступления темноты, и их появление стало для Алекса первым настоящим испытанием. Они приближались к зданию медленно, с опаской, останавливаясь на пороге и не решаясь войти, как будто переступая через невидимую границу, отделяющую мир живых от мира мертвых. Это были изможденные, серые лица с запавшими глазами и потрескавшимися губами; на их коже выступали багровые пятна, а движения были такими слабыми и неуверенными, что казалось, будто они вот-вот упадут.

Многие из них качались от слабости, цепляясь за стены и друг друга, и Алекс видел их страх — не только перед болезнью, но и перед самим Адамом, который, в своем длинном темном плаще и с черным саквояжем в руках, больше походил на посланца смерти, чем на целителя. Возможно, именно так и выглядели в представлении этих людей те, кто приходит за душами умерших, и эта мысль заставила Алекса поежиться.

— Они боятся нас, — тихо сказал Алекс, обращаясь к учителю, и в его голосе прозвучало нечто среднее между сожалением и удивлением.

— Пусть боятся, — ответил Адам, не поворачивая головы, и его голос был ровным, как поверхность замерзшего пруда. — Страх — это реакция на неизвестное. Как только они увидят результат, страх сменится надеждой. А надежда, поверь мне, — самая сильная мотивация из всех существующих. Сильнее любви, сильнее ненависти, сильнее инстинкта самосохранения. Человек, у которого есть надежда, способен на все.

Он оказался прав, и это было одно из тех предсказаний, которые кажутся пророческими только потому, что основаны на глубоком понимании человеческой природы. Первые несколько часов прошли в атмосфере недоверия и подозрительности, и каждый новый пациент, переступавший порог мастерской, делал это с видом человека, который идет на эшафот. Жители Нижнего города, привыкшие к тому, что богатые лекари не заглядывают в их трущобы, а если и заглядывают, то только для того, чтобы побыстрее убраться обратно, смотрели на пришельцев с опаской. Кто-то шептался, что Адам — посланник дьявола, явившийся, чтобы собирать души умерших; кто-то уверял, что он будет выкачивать из больных кровь для своих темных ритуалов; кто-то предлагал прогнать их палками, пока они не накликают на квартал еще большую беду.

Эти пересуды распространялись по улочкам, как огонь по сухой траве, и в какой-то момент Алекс начал опасаться, что толпа, собравшаяся у входа, может перейти от слов к делу. Но Адам не обращал на эти пересуды никакого внимания, и его спокойствие действовало на окружающих почти гипнотически. Он работал с той же сосредоточенностью, с какой работал в своей лаборатории: осматривал больных, прощупывал пульс, заглядывал в глаза, задавал короткие, точные вопросы, — и в его движениях не было ни тени сомнения или неуверенности. И вводил лекарство.

Первый больной, которому Адам сделал инъекцию, был мужчиной лет сорока, худым, как скелет, с багровыми пятнами на груди и стеклянными глазами, в которых уже почти не осталось жизни. Его принесли на носилках двое сыновей-подростков, которые сами еле держались на ногах от усталости и тревоги, и, глядя на них, Алекс подумал о том, что болезнь забирает не только тех, кто ею заражен, но и тех, кто вынужден наблюдать за страданиями близких. Адам осмотрел его, покачал головой и произнес:

— Состояние критическое. Но будем пробовать. Если он выживет, это будет лучшим доказательством того, что сыворотка работает. Если нет — мы по крайней мере узнаем, что нужно изменить.

Алекс подал ему шприц с заготовленным раствором, и в этот момент его руки дрожали так сильно, что он едва не выронил инструмент. Адам заметил это, но ничего не сказал — только взял шприц с той уверенностью, которая дается лишь годами практики и сотнями проведенных процедур. Он ввел лекарство в вену на сгибе локтя, и в течение нескольких минут ничего не происходило.

Мужчина лежал неподвижно, дыша поверхностно и прерывисто, и его лицо было таким бледным, что казалось, будто он уже переступил черту, отделяющую живых от мертвых. Его сыновья, стоявшие у входа, смотрели на отца с такой надеждой и таким отчаянием, что у Алекса сжалось сердце. Он вдруг подумал о своем собственном отце, которого почти не помнил, и о том, что готов был бы отдать все на свете, чтобы оказаться сейчас на месте этих мальчиков и получить шанс спасти родного человека.

А затем произошло нечто неожиданное, заставившее всех присутствующих вздрогнуть. Мужчина вдруг дернулся, выгнулся дугой, и из его горла вырвался хриплый, булькающий звук, похожий на стон умирающего зверя. Алекс испугался, что он умирает, что препарат оказался слишком сильным для его ослабленного организма, что они только что убили человека, который мог бы прожить еще несколько часов. Но Адам держал его за руку, считая пульс, и его лицо оставалось непроницаемым, как каменная стена.

Прошла минута, другая, и каждая секунда тянулась, как вечность. Дыхание больного постепенно выравнивалось, становилось глубже и ровнее, а багровые пятна на груди начали бледнеть, словно выцветая под воздействием невидимого света. А еще через полчаса он открыл глаза — осмысленно, осознанно — и тихо спросил, где он находится, и в его голосе было столько искреннего удивления, что Алекс едва не рассмеялся от облегчения.

По толпе, собравшейся у входа в мастерскую, прокатился вздох, похожий на вздох облегчения, который бывает у людей, только что переживших страшное напряжение. Люди переглядывались, шептались, не веря своим глазам, и на их лицах отражалась целая гамма чувств: изумление, радость, надежда, благоговение. Еще вчера этот человек был при смерти, его жизнь висела на волоске, и никто не верил, что он доживет до утра.

А сегодня он уже разговаривает, смотрит на окружающих осмысленным взглядом и даже пытается приподняться на локтях. Алекс видел, как меняются лица людей: страх сменялся изумлением, изумление — надеждой, надежда — ликованием, и это превращение было настолько стремительным, что казалось чудом. Они начали тесниться у входа, протягивая руки, умоляя о помощи, о чуде, о спасении, и в их голосах звучало столько отчаяния, что у Алекса защемило в груди.

— Не все сразу! — рявкнул Адам, и его голос, усиленный акустикой каменного зала, прозвучал как удар хлыста. — Сначала женщины, дети и старики. Остальные будут ждать. Кто попытается устроить давку, не получит ничего. Вы слышите меня? Ничего!

Толпа затихла, но не отступила. Люди стояли, сжимаясь от холода и страха, и смотрели на Адама с выражением, которое Алекс не мог определить: это было обожание, смешанное с ужасом, и в этом взгляде было что-то первобытное, почти религиозное. Так смотрят на святого, совершившего чудо, но не знающего, что он — святой; так смотрят на пророка, который пришел, чтобы спасти, но может и покарать. Алекс вдруг понял, что Адам, сам того не желая, стал для этих людей чем-то гораздо большим, чем просто целителем, — он стал символом надежды, а такое бремя нести гораздо тяжелее, чем любой саквояж с инструментами.

Часы шли, а поток больных не иссякал, и Алекс начал понимать, что такое настоящая усталость. Он видел, как люди приходят и уходят, как одни встают на ноги после введения сыворотки, а другие остаются лежать в ожидании чуда, которое может не наступить. Адам работал без перерывов, без еды и почти без воды, и его работоспособность казалась сверхчеловеческой. Алекс ассистировал ему, подавая инструменты, записывая наблюдения, подбадривая ожидающих, и с каждым часом его тело наливалось свинцовой тяжестью.

Он чувствовал, как нарастает усталость, как ноют спина и руки, как слипаются глаза, и ему приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы не упасть. Но он не позволял себе

остановиться, потому что знал: слишком много людей зависело от их работы, слишком много жизней висело на волоске, и любая пауза могла стоять кому-то жизни.

Они использовали новое лекарство, созданное на основе экстракта болотных пиявок, и Алекс не переставал удивляться тому, как быстро препарат распространяется по организму и как по-разному на него реагируют пациенты. Адам объяснял, что препарат работает избирательно: он разрушает токсины, вырабатываемые возбудителем лихорадки, но при этом не затрагивает здоровые клетки.

По крайней мере, так было в теории, выведенной на основе лабораторных опытов. На практике же все оказалось сложнее, и чем больше пациентов они лечили, тем очевиднее становилось, что универсального подхода не существует. У некоторых пациентов после введения препарата начинались судороги, у других — рвота, у третьих — падение температуры до опасного уровня, и каждый такой случай требовал от Адама немедленной реакции. Он внимательно наблюдал за каждым пациентом, делал пометки в журнале, корректировал дозировку, и по его лицу было видно, что он постоянно анализирует, сопоставляет, ищет закономерности, пытаясь понять, почему один организм принимает лекарство, а другой отторгает его.

— Это не побочные эффекты, — говорил он, когда Алекс замечал очередную негативную реакцию, и в его голосе звучало раздражение, смешанное с азартом исследователя. — Это реакция организма на токсины, которые высвобождаются при гибели возбудителя. Тело пытается справиться с отравлением, и иногда оно не справляется. Наша задача — помочь ему. Мы не просто вводим лекарство, мы запускаем целый каскад биохимических процессов, и мы должны контролировать каждый из них. Иначе из целителя ты превращаешься в убийцу.

Алекс записывал каждое слово, каждый симптом, каждое наблюдение, и его журнал с каждой минутой становился все толще. Он чувствовал себя не просто учеником, а частью чего-то большего — великого эксперимента, в котором на кону стояли сотни жизней, и это чувство пьянило его, наполняло странной смесью восторга и ужаса. С одной стороны, он понимал, что их работа может спасти бесчисленное множество людей, что их открытия войдут в историю медицины, что их имена будут упоминаться в учебниках. С другой стороны, он не мог избавиться от мысли, что каждый их успех оплачен чьими-то страданиями, а каждый их промах может стоить кому-то жизни. Эта двойственность была невыносимой, но в то же время именно она придавала их работе смысл, которого Алекс не находил ни в чем другом.

Жители квартала, видя, как умирающие встают на ноги, начали называть Адама святым, и это слово, сначала прозвучавшее как робкий шепот, вскоре стало греметь по всем улочкам Нижнего города. Оно передавалось из уст в уста, обрастая легендами и домыслами, и каждая новая версия была невероятнее предыдущей. Кто-то говорил, что он исцеляет прикосновением, кто-то — что он изгоняет демонов болезни молитвами, кто-то — что его лекарство содержит святую воду из самого источника Императорского храма.

Находились даже те, кто утверждал, будто видел, как над зданием бывшей кожевенной мастерской по ночам поднимается сияние, а из окон доносятся звуки небесного хора. Адам, слыша эти разговоры, лишь криво усмехался, но не опровергал их, потому что понимал: вера — тоже лекарство, порой не менее действенное, чем любые снадобья. Человек, который верит в свое исцеление, имеет гораздо больше шансов выжить, чем тот, кто сдался, и этот психологический фактор нельзя было сбрасывать со счетов.

Ночью, когда Алекс наконец присел на деревянную скамью у стены и позволил себе несколько минут отдыха, он впервые осознал бремя ответственности, лежащее на их плечах. Это осознание пришло не сразу, а постепенно, как холод пробирается сквозь одежду, и, овладев им, уже не отпускало до самого рассвета. Одно неверное решение — и десятки людей умрут, а их смерть будет на его совести до конца дней. Одна ошибка в дозировке, один неправильно подобранный компонент, один неучтенный фактор — и вместо спасения будет смерть, и никакие оправдания не помогут заглушить голос совести.

Он посмотрел на свои руки, на которых еще оставались следы от введения препаратов, и его охватила дрожь, не имевшая ничего общего с ночным холодом. Сможет ли он когда-нибудь привыкнуть к этому грузу? Сможет ли он так же спокойно, как Адам, принимать решения, от которых зависят чужие жизни? Сможет ли он научиться отстраняться от эмоций и видеть за каждым пациентом не человека, а случай, который нужно изучить?

Он не нашел ответа, и это отсутствие ответа было, пожалуй, самым честным из всего, что он мог себе позволить.

А потом, глубокой ночью, когда большинство больных спали под присмотром своих родственников, а в зале воцарилась тишина, нарушаемая только тихими стонами и шорохом дыхания, произошло то, чего Алекс боялся больше всего. Один пациент, молодой человек лет двадцати пяти, умер. Это случилось внезапно, без видимых причин, и именно эта внезапность была самой страшной, потому что она разрушала иллюзию контроля, которую Алекс так старательно выстраивал в своем сознании.

Ему ввели лекарство несколько часов назад, и сначала все шло хорошо: жар спал, дыхание выравнивалось, пульс стабилизировался, и Адам даже отметил его как пример успешного применения препарата, сделав соответствующую запись в журнале. Но потом, около трех часов пополудни, начались осложнения, и они начались так быстро, что никто не успел ничего понять.

Алекс, дежуривший у коек, заметил, что больной начал метаться во сне, стонать, хвататься за грудь, и в этом движении было столько муки, что у Алекса похолодело внутри. Он поспешил к нему, но было уже поздно, и эта запоздалость показалась ему самым страшным приговором, какой только можно себе представить. Молодой человек выгнулся дугой, захрипел и обмяк, и в ту же секунду Алекс понял, что произошло непоправимое. Он попытался нащупать пульс, но его не было, и это отсутствие пульса было красноречивее любых слов. Сердце остановилось, и вместе с ним остановилось что-то в душе Алекса, что-то, что он только начал в себе открывать.

Он стоял над телом, оцепеневший, парализованный ужасом и чувством вины, и ему казалось, что время остановилось вместе с сердцем умершего. Ему казалось, что это он убил этого человека, что он что-то сделал не так, что он мог бы предотвратить смерть, если бы был внимательнее, если бы не устал, если бы не пропустил первые признаки ухудшения.

Эти мысли крутились в его голове, как заевшая пластинка, и от них не было спасения. Но тут появился Адам. Он подошел бесшумно, как тень, и положил руку на плечо Алекса, и это прикосновение было неожиданно теплым и успокаивающим, несмотря на всю его внешнюю холодность.

— Отойди, — тихо произнес он. — Позволь мне осмотреть его.

Алекс отступил, чувствуя, как к горлу подкатывает ком, и этот ком был таким плотным, что он едва мог дышать. Адам склонился над умершим, внимательно осмотрел его лицо, приподнял веки, проверил зрачки, и его движения были такими же уверенными, как всегда, словно он делал это сотни раз.

Затем, не говоря ни слова, он взял скальпель из своего саквояжа и приступил к вскрытию, и это произошло так быстро, так буднично, что Алекс не сразу понял, что происходит. Адам разрезал грудную клетку, добрался до сердца, извлек его, осмотрел, затем вскрыл желудок, печень, почки, и его лицо при этом оставалось сосредоточенным, как у человека, решающего сложную головоломку. Его движения были точными, уверенными, лишенными всякого трепета перед смертью, и в этом отсутствии трепета было что-то пугающее, но в то же время вызывающее невольное уважение.

— Причина — обширное внутреннее кровотечение, — констатировал он, не обращаясь ни к кому конкретно, и его голос прозвучал в тишине зала как приговор. — Препарат разрушил не только токсины, но и часть тромбоцитов, отвечающих за свертываемость. Кровь перестала сворачиваться, и сосуды не выдержали. Нужно снизить концентрацию экстракта пиявок на треть и добавить стабилизатор на основе бычьей сыворотки. Если мы этого не сделаем, будут новые смерти.

Алекс слушал, не в силах пошевелиться, и в его голове эхом отдавались слова учителя. Он смотрел на тело, распростертое на столе, на кровь, капающую на пол, на руки Адама, покрытые багровыми пятнами, и чувствовал, как внутри него что-то ломается, что-то такое, что уже никогда не удастся починить. Этот человек умер, а его смерть стала лишь уроком, материалом для исследования, строчкой в журнале наблюдений. Конечно, это было необходимо, чтобы спасти остальных, чтобы не допустить новых ошибок, чтобы усовершенствовать препарат.

Но все же... все же это было так холодно, так бесчеловечно, что Алексу хотелось закричать, выбежать из этого здания и никогда больше не возвращаться. Но он остался, потому что знал: бегство ничего не изменит, а его долг — оставаться рядом с учителем и продолжать работу, как бы тяжело это ни было.

— Закрой ему глаза, — приказал Адам, вытирая руки чистой тряпкой, и в его голосе не было ни тени сожаления, ни намек на раскаяние. — И позови родственников. Пусть заберут тело. Похороны должны состояться как можно скорее, чтобы не допустить распространения заразы.

— А что им сказать? — спросил Алекс, с трудом выговаривая слова, и собственный голос показался ему чужим, словно принадлежащим другому человеку.

— Скажи правду. Что он умер от осложнений. Что мы сделали все возможное. Что его смерть поможет спасти других. Если они захотят знать подробности, пусть придут ко мне. Но не сейчас. Сейчас у меня слишком много работы.

Алекс кивнул и вышел из комнаты, и этот выход показался ему бегством, хотя он знал, что выполняет приказ. Ночь встретила его прохладой и запахом дождя, который только что прошел, оставив на мостовой блестящие лужи, отражавшие тусклый свет фонарей. На улице,

возле входа, все еще толпились люди, ожидающие своей очереди на лечение, и их было так много, что казалось, будто весь Нижний город собрался здесь.

Они смотрели на него с надеждой, с мольбой, с верой в чудо, и в их глазах отражался тот свет, который зажигается в душе человека, когда он верит, что спасение возможно. И Алекс впервые осознал, как тяжела эта ноша — быть тем, на кого возлагают такие надежды. Быть тем, кто держит в руках ключи от жизни и смерти, но не имеет права показать, что эти ключи обжигают ему ладони.

Он вернулся в госпиталь и продолжил работу, потому что у него не было выбора, и потому что он знал: даже если он остановится, мир не остановится вместе с ним. Болезнь не делает пауз, и смерть не знает усталости, и единственное, что может противопоставить им человек, — это упорство, граничащее с безумием. Алекс еще не знал, что эта ночь станет для него точкой невозврата, что после нее он уже никогда не сможет смотреть на мир так, как смотрел раньше, что каждый его шаг отныне будет омрачен знанием о том, как хрупка человеческая жизнь и как легко ее погасить. Но он сделал этот шаг, а затем еще один, и еще, и так до самого рассвета, который окрасил небо над Нижним городом в цвет запекшейся крови.

Глава 3. Милость императора

Слухи распространялись по столице с непостижимой, пугающей скоростью — гораздо быстрее, чем сама болезнь, породившая их. Если коварной лихорадке потребовалось несколько томительных, наполненных страхом и молитвами дней, чтобы скрытно пробраться по зловонным каналам, застойным сточным водам и тесным, извилистым подворотням Нижнего города, то весть о чудесном исцелении преодолела путь от пропитанных сыростью трущоб до величественных дворцовых ворот за считанные часы.

Она летела, как невидимая искра по сухой степной траве, перескакивая из уст в уста, обрастая невероятными, порой совершенно фантастическими подробностями, искажаясь до полной неузнаваемости и становясь от этого лишь более притягательной и завораживающей для жаждущих чуда умов.

В этих слухах, как в кривом зеркале, отражались все надежды и страхи городской толпы, ее извечная потребность верить в чудо, особенно в те времена, когда небо молчит, а земля уходит из-под ног. Люди, измученные бесконечной чередой смертей, похоронных процессий и колокольного звона, возвещавшего об утратах, отчаянно цеплялись за любую соломинку, за любую историю, способную подарить им надежду на спасение. И эта история, родившаяся в самых грязных и опасных кварталах города, была подобна глотку свежего воздуха в душной, пропитанной миазмами смерти атмосфере.

На шумных рыночных площадях, где торговцы наперебой расхваливали свой товар, а покупатели торговались до хрипоты из-за каждого медяка, в прокуренных трактирах, где за кружкой дешевого эля рождались и умирали городские легенды, в лавках цирюльников, где под скрип ножниц обсуждались последние новости и сплетни, и даже в чопорных приемных городских лекарей, где еще недавно царили уныние и бессилие, — везде говорили об одном и том же. В Нижнем городе, в самой сердцевине отчаяния и смерти, появился человек, который не просто лечит, а побеждает саму смерть. Кто-то шепотом называл его могущественным чародеем, заключившим сделку с силами, о которых обычным людям не следует даже думать, чтобы не навлечь на себя беду.

Кто-то — посланником богов, сошедшим на землю, чтобы покарать неверие и вознаградить страждущих. Кто-то, с презрением поджимая губы, — обыкновенным шарлатаном, ловко наживающимся на чужой беде и умело пользующимся паникой, охватившей город. Но все, независимо от отношения, сходились в одном: этот загадочный человек, доктор Адам Вейсс, совершил невозможное. Он остановил эпидемию, которая, подобно неумолимому огню, грозила перекинуться из перенаселенных трущоб в богатые, благополучные кварталы, а оттуда — и в самые покои императорского дворца, сея смерть без разбора чинов и сословий, не делая различий между нищим и вельможей, между грешником и праведником.

Императорская канцелярия, этот громоздкий и неповоротливый механизм, отреагировала с удивительной, несвойственной ей быстротой. Вероятно, причиной тому был не столько альтруизм или искренняя забота о подданных, сколько элементарный, животный страх, скрывающийся за стенами кабинетов и под масками чиновничьего безразличия.

Страх перед невидимой угрозой, которая не разбирает, кто перед ней — грязный нищий попрошайка, просящий милостыню у ворот храма, или первый советник казначейства, восседающий в мягком кресле и перебирающий четки из слоновой кости. Чума, вспыхнувшая в бедных кварталах, рано или поздно, словно вода, просачивающаяся сквозь любую преграду, добирается и до тех, кто привык считать себя неуязвимым за высокими стенами, глухими занавесями и рядами вооруженной стражи. В этом смысле болезнь — великий уравнитель, не признающий ни титулов, ни богатства, ни власти. Она приходит без предупреждения и уходит, лишь насытившись, не спрашивая разрешения и не принимая выкупов.

Поэтому уже через пять дней после окончания полевых испытаний, когда последние капли чудодейственного препарата спасли жизнь умирающему ребенку на руках у обезумевшей от горя матери, в лабораторию на окраине столицы прибыл гонец с официальным приглашением, от которого не принято отказываться. Этот вызов был обставлен со всей помпой, на которую только была способна имперская бюрократия, — с гербовой бумагой, сургучной печатью и той особой, почти неуловимой торжественностью, которая должна была напомнить получателю о его ничтожности перед лицом верховной власти.

Это был сухопарый, жилистый человек средних лет, чей возраст выдавали лишь глубокие морщины на лбу, прорезавшие кожу, словно трещины на старой картине, и седина, тронувшая виски. Он был облачен в строгий темно-синий мундир с серебряным шитьем на высоком воротнике, которое поблескивало при каждом его скупом, экононом движении. Держался он с той особой, почти неуловимой надменностью, которая свойственна людям, всю жизнь проводившим в приемных и коридорах власти и свято верящим в собственную значимость, даже если эта значимость была лишь отражением чужого, более высокого положения.

Он двигался по лаборатории с осторожностью человека, боящегося испачкать свои начищенные до блеска сапоги, и смотрел на окружающий его хаос алхимической мастерской с едва скрываемым презрением, смешанным с брезгливым любопытством. Даже войдя в пропитанную резкими химическими запахами лабораторию, где на покосившихся полках теснились банки с заспиртованными органами, плавающими в мутной жидкости, словно диковинные рыбы, где в ретортах булькали разноцветные растворы, а в воздухе плавали тяжелые пары ртути и серы, он умудрился сохранить на лице выражение брезгливого, вежливого безразличия, словно всю жизнь только и делал, что посещал подобные алхимические мастерские, пропахшие смертью и надеждой одновременно.

— Доктор Адам Вейсс? — осведомился он, хотя в его скрипучем голосе не было и тени сомнения, лишь вежливая констатация факта. Он смотрел на Адама так, как смотрят на человека, чью судьбу уже предрешили где-то наверху, в тех недоступных кабинетах, где решаются судьбы империи. — Его Императорское Величество повелевает вам явиться во дворец для аудиенции. Завтра, ровно в полдень. Вам надлежит прибыть с сопровождающим вас учеником, господином Алексом. Ожидается, что вы будете пунктуальны. Опоздания во дворце не приняты.

Адам, до этого момента склонившийся над сложным перегонным кубом, от которого исходил едкий пар, разъедающий глаза, не сразу обернулся. Он медленно, словно нехотя, выпрямился, вытер руки о грубую рабочую тряпку, испачканную чем-то бурым, напоминавшим засохшую кровь, и лишь затем соизволил взглянуть на посетителя. Его лицо оставалось бесстрастным, словно вырезанным из старого дуба, но Алекс, стоявший в дальнем углу и делавший вид, что перебирает инструменты, заметил, как на мгновение сжались челюсти учителя,

выдавая скрытое напряжение, и как побелели костяшки пальцев, сжимавших тряпку. Этот жест, едва уловимый, но красноречивый, сказал ему больше, чем любые слова.

— Мы будем, — коротко ответил Адам, и в его голосе не прозвучало ни радости, ни испуга, ни даже удивления. Лишь холодная констатация факта, как будто он заранее знал, что этот вызов неизбежен, что он — лишь вопрос времени.

Гонец сдержанно кивнул, оставил на заваленном бумагами столе запечатанный свиток с императорской печатью и вышел, не прощаясь, оставив после себя аромат дорогого масла для волос и чувство неотвратно надвигающихся перемен. За ним закрылась тяжелая дверь, и в лаборатории воцарилась глухая тишина, нарушаемая лишь мерным постукиванием капель из неисправного крана, тихим шипением горелки и далеким, едва слышным гулом утреннего города за окнами.

Алекс подошел к столу и осторожно, словно опасаясь обжечься, взял свиток. Он был удивительно тяжелым для своего размера, как будто сама бумага была пропитана важностью и значением. Печать была из темно-красного, почти винного воска, с отчетливым оттиском двуглавого орла — символом императорской династии, знаком власти и силы, который он прежде видел только на старых гравюрах и документах, что учитель хранил в особом, запертом на ключ ящике. Даже сам вид этой печати, тяжелой, торжественной, внушающей трепет, заставил его сердце замереть, а дыхание — на мгновение остановиться. Он держал в руках не просто свиток, а саму судьбу, готовую вот-вот перевернуться.

— Нас приглашают во дворец, — произнес он, словно пробуя эти слова на вкус, пытаясь осознать их значение. — К самому императору. Это же... это невероятно.

— Слышал, — отозвался Адам, не поворачиваясь. Он стоял у окна, глядя на залитый дождем унылый сад, где голые ветви деревьев чернели на фоне свинцового неба, словно вены на теле умирающего. Лицо его казалось высеченным из серого камня, а в темных глазах не отражалось ничего — ни радости, ни тревоги, ни любопытства. — Это может быть и наградой, и ловушкой. С нашими знаниями и с нашей сомнительной репутацией никогда не знаешь наверняка, что за дверью тебя ждет — милость или плаха. Во дворце умеют улыбаться и казнить одновременно, не меняя выражения лица.

— Но ведь мы ничего плохого не сделали! — воскликнул Алекс, чувствуя, как внутри поднимается волна праведного негодования, горячая и обжигающая. — Мы спасали людей! Мы остановили эпидемию, когда все остальные либо бежали, либо молились! Мы рисковали своими жизнями ради тех, кого эти аристократы и чиновники никогда бы даже не заметили!

— Именно поэтому нас и зовут, — Адам резко повернулся к ученику, и в его темных глазах мелькнуло что-то похожее на усталую, горькую иронию. — Императору нужны не герои и не святые. Ему нужны инструменты. Эффективные, послушные и готовые к использованию. Люди, способные остановить следующую вспышку, когда она случится. А она случится, поверь моему опыту. Всегда случается. Вопрос лишь в том, какую цену нам предложат за нашу лояльность. И какую цену мы сами готовы будем заплатить.

Он замолчал, и в наступившей тишине Алекс услышал, как тикают старые настенные часы, отсчитывая секунды их прежней, спокойной жизни. Казалось, каждая секунда этого тика-

нья уносила их все дальше от привычного мира — лаборатории, опытов, тихих вечеров за книгами. И все ближе к чему-то неизведанному, опасному и манящему одновременно.

Алекс хотел возразить, но промолчал, прикусив язык. Он уже привык к тому, что учитель смотрит на мир сквозь мрачную призму цинизма и прагматизма, не доверяя никому и ничему. И в его словах, безусловно, была доля горькой правды. Но в глубине души, в самом сокровенном уголке, он не мог избавиться от наивной, почти детской надежды, что на этот раз все будет иначе. Что император окажется мудрым и справедливым правителем, который действительно печется о благе своего народа. Что их труды будут признаны и достойно вознаграждены. Что в этом прогнившем, жестоком мире еще есть место для благодарности, чести и простого человеческого участия. Эта надежда была хрупкой, как осенний лист на ветру, но она жила в нем, согревая изнутри и не позволяя окончательно разувериться в людях.

Остаток дня прошел в лихорадочных приготовлениях. Адам, обычно не обращавший внимания на одежду и ходивший в одном и том же потертом сюртуке неделями, на этот раз с особым тщанием отобрал для себя строгий черный костюм, в котором он выглядел еще более мрачно, внушительно и отчужденно, чем обычно.

Он долго стоял перед потускневшим зеркалом, разглядывая свое отражение с тем выражением, с каким полководец осматривает поле битвы перед решающим сражением. Алексу же пришлось довольствоваться его единственным приличным костюмом — темно-серым, слегка тесноватым в плечах и с потертыми локтями, но вполне подходящим для визита во дворец. Учитель выдал ему свой старый шейный платок, который, по его словам, придавал «хоть какую-то респектабельность».

Они до глубокой ночи обсуждали, как следует себя вести, что говорить, а о чем лучше благоразумно умолчать. Адам предупредил, что двор — это настоящее змеиное гнездо, где каждый жест и каждое неосторожно брошенное слово имеют значение, где улыбка может быть страшнее прямой угрозы, а вежливость — опаснее открытой вражды. Он рассказывал об интригах, плетущихся за кулисами императорской канцелярии, о том, как быстро возвышаются и падают фавориты, как меняются союзы и как опасно доверять даже тем, кто кажется искренним. Его слова ложились на душу Алекса тяжелым грузом, но в то же время пробуждали острое любопытство. Он никогда не бывал при дворе и не знал этой жизни, полной скрытых опасностей и невидимых сражений.

— Говори только тогда, когда тебя спросят, — наставлял Адам, расхаживая по комнате, словно преподаватель перед нерадивым студентом. Его шаги гулко отдавались в ночной тишине. — Не выказывай эмоций. Не смотри в глаза императору дольше, чем это дозволено этикетом. И главное — ни слова о деталях нашей работы. Ни о сыворотке, ни об алхимических формулах, ни о том, что мы используем компоненты, которые кое-кто назвал бы запрещенными. Император, возможно, догадывается о наших методах, но это не значит, что об этом нужно говорить вслух. Стены дворца имеют не только уши, но и отличную память. А память дворца, как и его тени, может обернуться против тебя в самый неожиданный момент.

Алекс слушал, послушно кивая, но мысли его были далеко отсюда, в мире грез и фантазий. Он представлял себе дворец, который видел лишь на пожелтевших картинках и выцветших гравюрах в дешевых книжках, продававшихся на развалах у городских стен: величественное здание из белоснежного мрамора, с сияющими золотыми шпилями и стройными колоннами, с бесконечными анфиладами залов, залитыми светом тысяч восковых свечей, с

гобеленами, на которых оживали сцены древних битв, и мозаичными полами, отражающими блеск хрустальных люстр. Ему казалось невероятным, почти неправдоподобным, что он, простой мальчишка из далекой северной провинции, сын безвестного деревенского лекаря, завтра войдет в эти залы и предстанет перед самым императором. Судьба, еще недавно не сулившая ничего, кроме вечных скитаний и борьбы за выживание, вдруг сделала резкий поворот, и этот поворот одновременно пугал и завораживал его.

Он лежал без сна до самого рассвета, ворочаясь на своей жесткой кровати и прислушиваясь к ночным шорохам. В голове его проносились обрывки мыслей, образов, предположений. Он пытался представить, каким окажется император — добрым или жестоким, мудрым или безвольным. Представлял, как они с Адамом будут стоять перед троном и отвечать на вопросы, от которых зависит их судьба. И, сам не зная почему, то и дело возвращался мыслями к тому, что ждет их за воротами дворца. Ему казалось, что эта встреча станет поворотной точкой, после которой их жизнь уже никогда не будет прежней.

Утро следующего дня выдалось на редкость ясным и пронзительно холодным. Дождь, непрерывно ливший несколько дней подряд и превративший улицы в грязные реки, наконец прекратился, и над городом раскинулось бледно-голубое небо, по которому лениво плыли редкие, словно выпавшие на солнце облака. Солнце, еще по-зимнему низкое и неяркое, заливало улицы мягким, рассеянным светом, превращая глубокие лужи в слепящие зеркала, а мокрые крыши — в полированное серебро, по которому рассыпались тысячи искр. В воздухе пахло свежестью, сыростью и далеким дымом печей — этот запах пробуждал воспоминания о детстве, о северных деревнях, где воздух всегда был чистым и холодным, как родниковая вода.

Они выехали заранее, чтобы ни в коем случае не опоздать. Адам, как всегда, был молчалив и сосредоточен, его лицо не выражало никаких эмоций, словно он ехал не на аудиенцию к императору, а на очередной осмотр пациента в Нижнем городе. Алекс, напротив, не мог усидеть на месте, то и дело выглядывая из окна покачивающейся повозки и разглядывая проплывающие мимо кварталы с жадностью человека, впервые попавшего в незнакомый город. Он впервые видел столицу в погожий день, и она поразила его своей кричащей многоликостью. Роскошь здесь соседствовала с вопиющей нищетой, величие — с убожеством, строгий порядок — с хаосом. Здесь, в центре города, на широких проспектах, одетых в камень и украшенных фонтанами с замерзшей водой, богатые горожане прогуливались в дорогих меховых одеждах, а их слуги несли зонты и пакеты с покупками. А буквально за углом, в узких вонючих переулках, копошились нищие, бродячие собаки с выпирающими ребрами и торговцы сомнительным товаром, предлагавшие все, от краденых безделушек до сомнительных снадобий.

Императорский дворец показался на горизонте внезапно, как мираж, возникший из утреннего тумана. Он возвышался над городом, словно гора, оторвавшаяся от земли и повисшая в воздухе. Его белоснежные стены, увенчанные золотыми куполами и остроконечными шпилями, сверкали в лучах утреннего солнца, а бесчисленные окна, словно тысячи глаз, смотрели на город с высоты недостижимого, холодного величия. Алекс затаил дыхание. Ему казалось, что он видит не реальное здание, а искусную декорацию к какой-то древней, забытой легенде, к сказанию о богах и героях, которое он когда-то слышал от бродячего сказителя на деревенской ярмарке. Это было место, где, казалось, само время текло иначе — медленнее, торжественнее, словно застывая в вечности.

У главных ворот их встретила стража — закованные в полированные, ослепительно сверкающие доспехи гвардейцы с длинными алебардами наперевес. Они внимательно, с холодной

придирчивостью осмотрели документы, сверили их с каким-то длинным списком, лежавшим в кожаной папке, и лишь затем, обменявшись едва заметными кивками, пропустили внутрь. Алекс заметил, как пристально они смотрят на Адама, как изучают его лицо, словно пытаясь запомнить каждую черту. Очевидно, слухи о докторе, остановившем чуму, долетели и до них, и теперь они смотрели на него с тем особым выражением, в котором смешивались уважение, недоверие и суеверный трепет.

Повозка медленно въехала в просторный внутренний двор, вымощенный светлым, гладко отполированным камнем, и остановилась у широкой мраморной лестницы, ведущей к главному входу. Алекс вышел из повозки, чувствуя, как предательски дрожат колени. Он одернул сюртук, поправил сбившийся воротник и бросил быстрый взгляд на Адама. Тот стоял рядом, прямой, как шпага, с абсолютно непроницаемым выражением лица. Ни тени волнения, ни намека на трепет. Казалось, ему было совершенно все равно, где он находится — в вонючей подворотне Нижнего города или у ворот императорской резиденции. И это спокойствие, эта непоколебимая уверенность учителя придавали Алексу сил, хотя он и понимал, что для самого Адама это спокойствие — лишь маска, скрывающая напряженную работу мысли.

Их провели через анфиладу залов, каждый из которых был великолепнее предыдущего. Алекс шел, задрав голову, разглядывая высокие потолки, расписанные фресками, изображавшими сцены древних битв и триумфов, гобелены, на которых были вытканы сцены охоты и придворной жизни, мраморные статуи, застывшие в вечном безмолвии. Ему казалось, что он попал в сон, в сказку, в другой, параллельный мир, где нет места болезням, смерти и страданию, а есть только красота и покой. Но где-то в глубине этого великолепия, словно невидимая трещина на идеальной поверхности, ощущалось что-то тревожное, что-то, что заставляло сердце биться чаще. Возможно, это была сама атмосфера дворца — холодная, отстраненная, пропитанная веками интриг и тайн.

Наконец их ввели в тронный зал. Это было огромное, подавляющее своими размерами помещение, высотой в три человеческих роста, с колоннами из розового мрамора, поддерживающими потолок, и полом, выложенным искусной мозаикой с изображением карты империи. Вдоль стен, словно живые изваяния, стояли придворные — мужчины в расшитых золотом камзолах и женщины в пышных платьях с громоздкими кринолинами. Все они, как по команде, повернули головы в сторону вошедших, и Алекс почувствовал на себе их взгляды — оценивающие, любопытные, настороженные, а порой и откровенно враждебные. Эти взгляды были тяжелыми, как свинец, и он буквально физически ощущал их давление на своих плечах.

В дальнем конце зала, на высоком возвышении под алым балдахином, стоял трон. И на этом троне сидел император.

Алекс не знал, чего ожидать. В его воображении, сформированном дешевыми гравюрами и рассказами бродячих артистов, император рисовался этаким величественным старцем с бородой до пояса, в мантии, усыпанной драгоценными камнями, и с короной, напоминающей королевский венец из сказок. Но реальность оказалась куда более прозаичной и оттого более пугающей. Императору на вид было лет пятьдесят, но выглядел он уставшим, изможденным, словно долгие годы правления выпили из него все жизненные соки. Его лицо, с резкими чертами и глубокими складками у рта, было болезненно-бледным, а глаза, темные, пронзительные, смотрели на мир с той особой, настороженной мудростью, которая приходит лишь с годами, потерями и разочарованиями. На голове его действительно была корона — но не массивная и вычурная, как на картинках, а простая, изящная, из тонкого золотого обруча. И

одежда на нем была не роскошной, а сдержанной, темно-бордовой, без излишеств. Казалось, он сознательно отказывался от внешней помпы, предпочитая ей скрытую силу, и это делало его еще более опасным.

Рядом с троном, чуть позади, стояла девушка. И вот она привлекла внимание Алекса сразу, мгновенно, словно в полумраке зала вспыхнул яркий свет, а все остальные краски разом померкли. Ей было лет семнадцать-восемнадцать. Темные, почти черные волосы, уложенные в высокую замысловатую прическу, обрамляли лицо, которое Алекс сначала воспринял как просто красивое, но, приглядевшись, понял, что красота — не главное ее достоинство. В ней было нечто большее — острый, живой ум, светящийся в карих глазах, пытливый и чуть насмешливый. Она смотрела не на Адама, как все остальные, а именно на Алекса, и в ее взгляде читался неподдельный, живой интерес, словно она пыталась разгадать его, как сложную загадку.

Это была принцесса Алиса. Единственная дочь императора.

— Подойдите, — раздался голос императора, низкий и ровный, но с той особой хрипотцой, которая выдает человека, проводшего слишком много бессонных ночей. — Доктор Вейсс и его ученик. Мы слышаны о ваших подвигах.

Адам сделал несколько размеренных шагов вперед и склонился в положенном по этикету поклоне. Алекс повторил его движение, стараясь не смотреть в глаза императору дольше, чем предписывали наставления учителя. Поклон получился, как ему показалось, неуклюжим, но никто не засмеялся и не сделал замечания. Придворные продолжали молча наблюдать, и это молчание давило на нервы сильнее любых слов.

— Ваше Величество, — произнес Адам, и голос его прозвучал ровно, без тени подобострастия или лести. — Мы лишь исполняли свой долг.

— Долг, — медленно повторил император, и на его тонких губах мелькнула слабая, едва уловимая усмешка. — Скажите это лекарям, которые бежали из города при первых признаках эпидемии. Скажите это аптекарям, которые втридорога продавали бесполезные снадобья. Нет, доктор, то, что вы сделали, — не просто долг. Это подвиг, который заслуживает внимания.

Император медленно, с достоинством поднялся с трона. В этом движении не было театрального величия, но была тяжелая, усталая властность человека, привыкшего повелевать и не терпящего возражений. Он сделал несколько шагов вперед, остановившись прямо перед Адамом, и Алекс почувствовал, как воздух в зале сгустился. Все взгляды были прикованы к этой паре — императору и доктору, власти и знанию, встретившимся лицом к лицу.

— Мы желаем знать, как вам это удалось, — продолжил он, и в его голосе появились требовательные нотки. — Какими средствами вы остановили эпидемию, которую наши лучшие умы объявили неизлечимой?

Адам выдержал паузу. Алекс почувствовал, как у него пересохло во рту, а сердце забилося где-то в горле. Сейчас решалась их судьба. Одно неосторожное слово — и они могли из героев в одно мгновение превратиться в преступников, закованных в кандалы. Алекс мысленно взмолился всем богам, чтобы учитель сумел правильно ответить, чтобы его слова прозвучали убедительно и не вызвали подозрений.

— Ваше Величество, — начал Адам, тщательно подбирая слова, словно шел по тонкому льду, — мы использовали комбинированный подход. Сочетание алхимических препаратов, разработанных в моей лаборатории, с традиционными методами поддерживающей терапии. Главным компонентом послужил экстракт, полученный из обычных болотных пиявок. Простое, доступное средство, которое при правильной обработке приобретает удивительные целебные свойства.

Император слушал, слегка наклонив голову, не сводя с Адама тяжелого взгляда. Его глаза, темные и внимательные, изучали доктора, словно пытаясь заглянуть под маску его сдержанности. Он не был похож на человека, которого легко обмануть. В каждой черте его лица, в каждом движении чувствовался опыт правителя, привыкшего разбирать людей, как сложные механизмы, отделяя правду от лжи, искренность от притворства.

— Вы хотите сказать, что спасение от лихорадки, унесшей сотни жизней, было найдено в болотной грязи? — спросил он, и в его голосе Алексу послышалось искреннее удивление.

— Именно так, Ваше Величество, — подтвердил Адам. — Природа часто дарит нам решения самых сложных проблем. Нужно лишь уметь видеть и понимать. То, что кажется бесполезным и даже отвратительным, может оказаться величайшим сокровищем, если подойти к нему со знанием и терпением.

На мгновение в зале воцарилась глубокая, почти осязаемая тишина. Придворные замерли, ловя каждое слово, боясь пропустить малейший жест. Алекс стоял, не смея поднять глаз, чувствуя, как колотится сердце, отдаваясь в висках. Ему казалось, что вся его жизнь сжалась в этот миг, в это томительное ожидание. Он слышал собственное дыхание, собственное сердцебиение, и эти звуки казались ему оглушительно громкими в наступившей тишине.

— Что ж, — произнес наконец император, и в его голосе Алексу послышалось нечто похожее на одобрение, — мы впечатлены. Ваши методы, доктор Вейсс, необычны, но результат говорит сам за себя. Мы намерены предложить вам наше покровительство.

Он сделал едва заметный знак рукой, и к нему тут же подошел слуга с бархатной подушкой, на которой лежал свиток, перевязанный золотой лентой. Эта лента блестела в свете свечей, словно струя жидкого золота, и Алекс не мог отвести от нее глаз. Ему казалось, что в этом свитке заключена не просто бумага с печатью, а сама возможность новой жизни, полной возможностей и перспектив.

— Мы выделяем вашей лаборатории грант на продолжение исследований, — продолжил император, и его голос зазвучал торжественно. — Средства будут поступать из императорской казны. Взамен мы ожидаем, что вы продолжите свои работы на благо империи и будете готовы в любой момент прийти на помощь, если возникнет новая угроза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.